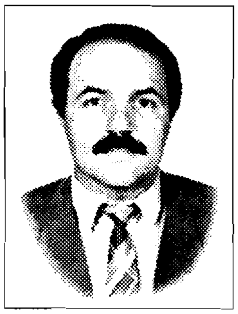
УДК 17



Пришествие тоталитаризма: прыжок мимо царства свободы[1]

© А. Э. Петросян *, 2009

Рассматриваются исторические предпосылки и процесс становления тоталитарно-бюрократической системы власти в Европе в конце XIX — начале XX вв. Особое внимание уделяется формам, которые она приобрела в России, где монополистический капитализм буквально ворвался в феодально-патриархальное безмолвие гражданского общества. Прослеживается, как антимонархическая революция под освободительным флагом привела тут к тоталитарному абсолютизму без частного интереса, способного хотя бы немного смягчить безжалостный пресс государства и предоставить личности минимальную свободу самовыражения. Автор выявляет непреодолимые изъяны тоталитарно-бюрократической модели управления, в частности сформулированной М. Вебером, и показывает ее неспособность решать элементарные проблемы общественной жизни.

Ключевые слова: тоталитаризм, бюрократия, государство, управление, частный интерес, свобода.

Те, кто громче всего требует свободы, хуже всего ее переносят.

Ф. Д. Стэнхоуп, лорд Честерфилд, английский дипломат и государственный деятель XVIII в.

К середине XIX в. раскаты революционного грома, пронесшиеся по многим странам Европы, закрепили новое соотношение социальных сил. Реальная власть все больше перетекала к возмужавшей буржуазии, которая вступила в тесную смычку с обуржуазившимися бюрократией и дворянством. Конституционная монархия стала той политической оболочкой, в которой вызревало буржуазное государство, что особенно ярко проявилось во Франции во времена Луи Наполеона.

Правда, в бюрократическом строе государственного организма по сравнению с абсолютизмом мало что изменилось. Если и можно говорить о переменах, то они коснулись лишь социальной природы бюрократизма и масштабов чиновнического сословия. Дело не только в том, что оно уже рекрутировалось из более широких общественных слоев. Расширилось само поле его деятельности, а главное — разрослись источники, которыми оно подпитывалось. Основой существования чиновничества стало капиталистическое богатство, и его деятельность насквозь пропитывалась вымогательством, коррупцией, эксплуатацией должностей по мере того, как деньги оказывались всеобщим мерилом личного и социального благополучия.

Но можно ли поставить это в вину капитализму?

По-видимому, нет. Это была скорее его беда. Он пробивал себе дорогу прежде всего в «старых» европейских странах, продираясь сквозь обломки абсолютизма и разбирая феодальные завалы. Если же обратиться к опыту «новых», изначально капиталистических стран, которые не имели векового бремени крепостнических пережитков (США, Австралия, Канада и др.), то нетрудно заметить, что бюрократизм не стал там раковой опухолью на теле государства, ибо само оно никогда не было тоталитарным. Поэтому бюрократизм вряд ли является простым порождением «классовых антагонизмов». Капитализм, если он свободен от тоталитарных корней, вполне способен обойтись без бюрократического засилия. И наоборот, когда он сцеплен с крепостническими остатками, взят под жесткий контроль централизованной властью, отчужденной от гражданского общества, бюрократия оказывается главной действующей силой в государственном устройстве.

Однако капитализм уже сам по себе чреват тенденцией децентрализации власти и ее перехода к реальным собственникам. И, соединяя ее

* Постоянный автор нашего журнала.

с действенными рычагами развития общества, он как бы изнутри подтачивает тоталитарный строй. Но, будучи не в силах полностью вырваться из его объятий, капитализм временами усугубляет пороки государства и даже окончательно уродует его.

1. Камо грядеши?

Вполне очевидно, что капитализм сохраняет отчужденность от власти большей части народа. Максимум, на что он способен, — это оттеснить от нее и саму бюрократию, которая паразитирует на разломах общественного устройства. Но вряд ли стоит ждать от него немедленного переустройства власти в интересах широких масс.

Как же быть?

Захватить власть самим? Но как таковая она мало способна к осуществлению идеалов и даже противостоит им как враждебная сила. Недаром великие моральные учения (начиная с христианства) отвращали от нее своих приверженцев (хотя это и не мешало некоторым проповедникам встать у ее кормила). Власть сама по себе не может дать свободу, ибо по природе своей является не чем иным, как организованным насилием. Значит, пытаться освободиться, воспользовавшись ею, — это не более чем смена одних оков на другие, быть может, еще более тяжкие. Это всего лишь дворцовый переворот, меняющий политические фигуры, но никак не их социальную природу.

Отсюда сам собой напрашивается вывод: нужен слом государственной машины. Именно он венчал проделанный К. Марксом в середине XIX в. анализ классовой борьбы во Франции. Но как же тогда устроить власть, и может ли без нее функционировать социальный организм? Этот вопрос так и остался без ответа, ибо он все еще находился за горизонтом общественного развития.

Однако прошло не более двух десятилетий, и пролетарская революция стала в Париже неожиданной реальностью. Маркс проявил к ней глубокий интерес, ибо это была попытка реализовать ту самую новую модель власти, необходимость которой он вывел чисто теоретически. Неудивительно, что она стала для него неисчерпаемым источником практического опыта.

Маркс увидел в Парижской коммуне образец пролетарского устройства государственной власти. Правда, она была не вполне последовательной и не всегда решительной, что собственно и обусловило ее падение. Но зато она была, по словам Маркса, властью «работающей», т. е. совмещающей законодательные функции с исполнительными. И в этом смысле в ней воплотился единый суверенитет, который, не расплескав по отдельным сосудам, народ передал этому органу, созданному пролетариатом.

Коммуна в корне изменила положение чиновничества. Это коснулось, прежде всего, его социального происхождения. Если раньше оно рекрутировалось в основном из имущих классов, то теперь стало избираться по округам Парижа из самих рабочих либо тех, кто был облечен их полным доверием. Естественно было ожидать, что такие представители народа будут действовать в его интересах.

Кроме того, чиновники были поставлены под жесткий общественный контроль. Не говоря уже о том, что органы власти формировались на основе всеобщего избирательного права, они были сменяемы, и регулярно публиковались отчеты об их заседаниях. И в этом смысле власть перестала быть «частной собственностью» чиновников, а сами они уже не были ставленниками «центрального правительства».

Наконец, были ликвидированы особые привилегии чиновничества. Оно по-прежнему исполняло свои функции за плату, но сама она не могла быть выше заработка квалифицированного рабочего. Причем отменялась выдача денег на представительство, чем были усечены погоня за местечками и простой карьеризм. Тем самым чиновничество из слоя, стоявшего над обществом, превратилось в сословие, находящееся внутри общества. Оно состояло из «ответственных слуг общества» (Маркс), которые своими усилиями низложили тоталитарно-бюрократический режим и установили строй непосредственной демократии.

И тем не менее Коммуна пала. Не только и, быть может, не столько под ударом внешних сил, сколько в результате внутренней слабости и противоречивости ее установлений. Это была, скорее, естественная смерть, вызванная недостатком приспособляемости и неспособностью решать проблемы, которые порождались ее собственной жизнедеятельностью.

Чем же на самом деле была Парижская коммуна — этот первый опыт государственного переустройства пришедшим к власти пролетариатом?

Уже при беглом взгляде на устройство власти в Коммуне всплывает аналогия с древнегреческой полисовой демократией. И тут и там практикуется выборность чиновников; и тут и там они подконтрольны обществу; и тут и там отсутствуют заметные привилегии, предусмотренные для чиновников. Одним словом, в обоих случаях государственная власть как бы встроена в сам общественный организм.

Однако именно это порождает первые сомнения в жизнеспособности Коммуны как способа властвования. Столь значительные параллели, связанные с формой организации власти, при глубоком, если не сказать «принципиальном», различии содержания социальных фундаментов, на которых зиждились Коммуна и древнегреческий полис, не говоря уже о несоразмерности исторических эпох, могли означать лишь то, что Коммуна как политическая оболочка неизбежно будет разорвана внутренними тенденциями развития промышленного производ-

ства, впитавшего в себя капиталистические принципы организации труда.

Прежде всего, полисный строй обеспечивался рабским положением гражданского общества (индивидов, непосредственно участвующих в общественном производстве), тогда как в Коммуне приобщались к управлению именно социальные низы, которые не обладали ни временем, ни опытом, ни надлежащей квалификацией.

Далее. Граждане полиса были, как правило, частными собственниками, совместно владевшими также городским хозяйством, и именно на этом зиждилась их гражданская независимость. Между тем Коммуна как политический режим охватывала, главным образом, не-собственников, людей, не имеющих хозяйственной базы для отправления власти. Что же касается национализации собственности, которая недаром проводилась так медленно и непоследовательно, то она мало что могла изменить, ибо пролетариат не был в состоянии самостоятельно организовать производство, а государственное управление хозяйством неизбежно возродило бы тоталитарно-бюрократический механизм контроля над гражданским обществом, и все вернулось бы в конце концов на круги своя.

Наконец, единственное, что вполне объединяло социальные фундаменты Коммуны и древнегреческого полиса, — это то, что оба они представляли собой, по существу, города-государства, «малые» отечества, в которых в принципе можно было бы обеспечить непосредственный характер государственного регулирования и отправления властных функций (включая совмещение законодательных и исполнительных полномочий). Но если это было в определенном смысле достоинством полиса, то для Парижа оно было губительным. В условиях продвинутого разделения труда и промышленной организации производства, когда каждый субъект хозяйствования опутывается множеством нитей, связывающих его даже с «медвежьими» углами Европы, Париж оказался фактически отрезанным от остального мира. Стоит ли удивляться, что Коммуна не выдержала бремени собственных претензий и рухнула в одночасье, как колосс на глиняных ногах?

Парижская коммуна, по выражению Ф. Энгельса, заключала в себе все необходимое и достаточное, «чтобы обеспечить себя против своих собственных депутатов и чиновников». И она с решимостью сомнамбулы пыталась до конца реализовать эту свою возможность. Но, превратив ее в самоцель, подменив ею вопрос о социальных функциях власти — то, что, собственно, и придавало ей сколько-нибудь ясный смысл, Коммуна, как это часто бывает в таких случаях, выхолостила сам государственный потенциал чиновничества, превратив его в беспомощный балласт. Абсолютная выборность обернулась полным отсутствием профессиональных качеств; тотальная подконтрольность лишила его инициативы, а упразднение привилегий вкупе с незначительным жалованием окончательно подорвало мотивацию. Поэтому, «взнуздав» чиновничество, Коммуна запустила тем самым механизм саморазрушения, дезорганизации и хаотизации общественных процессов. Это был благородный революционный порыв, который бесславно разбился о неумолимую логику власти.

Несмотря на «зигзаги» Парижской коммуны и ее историческую обреченность, она долгое время была чуть ли не единственным практическим ориентиром социального переустройства. И не только во Франции, но и во всей Европе, включая Россию, куда мало-помалу стал перемещаться центр революционного движения.

Между тем в начале XX столетия «векторы» общественного развития претерпели резкие сдвиги. Возникли новые реалии, которые трансформировали социальный фундамент и привели к новой расстановке общественных сил. Капитализм вступил в монополистическую стадию, которая существенно раздвинула границы управленческих отношений и глубоко внедрила их в сферу хозяйствования.

С одной стороны, происходило отделение функции управления от собственности. Капиталист стремился передать свои полномочия особому отряду «хозяйственных чиновников», которые от его имени управляли предприятиями. А с другой — если вначале расходы на этих управляющих составляли часть переменного капитала, то в дальнейшем они все больше стали жить за счет получаемой прибыли.

Таким образом, происходит своеобразный откат от «чисто» капиталистических форм организации производства к неким «квазитоталитарным» методам. Управление производством как бы отчуждается от собственности и становится противостоящей ему надстройкой. При этом в крупнейших монополиях нарастает тенденция к бюрократизации и локальной «тоталитаризации» (в отношении своего «населения»), образуя зачатки промышленных империй. Особенно ярко проявляется это в странах с прочными бюрократическими традициями. Тут капиталист выступает в качестве своего рода «удельного» конституционного монарха, отдающего весь аппарат хозяйственной власти чиновническому сословию.

Похожие тенденции набирают силу и в самой государственной жизни.

Отчасти это вызвано тем, что политическая бюрократия, живя на содержании банковско-промышленной олигархии, также монополизируется. Она начинает участвовать в прибылях, приобретает личные акции и в конце концов даже срастается с финансовым капиталом. Чередуя государственную и предпринимательскую деятель-

ность, активно включаясь в финансовые махинации, разветвляя каналы вымогательства и коррупции, государственное чиновничество получает определенный контроль и над деловым миром. В то же время постепенно само государство втягивается в монопольное предпринимательство, и чиновники от его имени прямо или косвенно участвуют в хозяйственных процессах, углубляя контроль над гражданским обществом и укрепляя тоталитарную компоненту власти. Тем самым оно все больше погрязает в бюрократизме.

В той или иной степени эти тенденции, порожденные монополистическим капитализмом, проявили себя даже в «чисто» капиталистических странах, ранее почти не знавших бюрократических форм власти. Что же касается государств, выросших на тоталитарных дрожжах, то в них бюрократизм превратился в мощный тормоз общественного развития и даже фермент последующего разложения политического режима. Социальная база государственной власти (обычно в форме конституционной монархии) постепенно сужается, охватывая лишь финансовую олигархию и крупных земельных собственников. Тем самым государственный строй оказывается в ситуации, когда малейшие колебания могут привести к его падению. Поэтому обычно берется курс на социальные реформы, позволяющие расширить социальную базу, а стало быть, и устойчивость политического режима. Но чем последовательнее осуществляются эти реформы, тем сильнее они увеличивают внутренний потенциал капитализма, который стремится вырваться из сковывающих его тоталитарно-бюрократических пут. Тем самым складывается парадоксальная ситуация, когда по мере расширения своей социальной базы государственная власть фактически приближает собственный конец. И, стремясь не допустить его, она наращивает карательные функции, вырождаясь в обыкновенную военщину.

Особенно уродливые формы принял тоталитарно-бюрократический режим в России, где монополистический капитализм буквально ворвался в феодально-патриархальное безмолвие гражданского общества. Он не столько надстраивался над «классическим» капитализмом, сколько беспощадно ломал и «перемалывал» традиционные формы хозяйствования и управления государством. Ситуация осложнялась тем, что чиновничество, несмотря на всю свою пестроту, было весьма поляризовано. Причем ключевые позиции занимали именно те из них, кто не столько смотрел вперед, сколько ностальгировал по старым добрым временам.

2. Рождение спрута

Своеобразие российской системы власти заключалось в том, что она оказалась средоточием трех «тектонических» сдвигов в общественном устройстве. Вступление капитализма в монополистическую стадию переплелось тут с постепенным оформлением конституционно-монархического режима и внедрением буржуазии как общественного слоя в аппарат государственной власти. Но если рядовые чиновники (бюрократия) происходили в основном из мещан и разночинцев, то высшие сановники — из дореформенного поместного и служивого дворянства. Крупная буржуазия к тому времени уже сумела ухватить свой кусок государственного пирога (особенно после революции 1905 г.), но крепко держалось за него и помещичество, пытавшееся отстоять свои «исконные» привилегии.

Все это в конечном счете придавало российскому чиновничеству «особенно вредные качества» (Ленин), а его буржуазная ориентация сплошь и рядом принимала крепостническую окраску. Поглощенные лишь своим частным интересом, различные слои чиновничества буквально раскалывали общество. С одной стороны, власть была окончательно отчуждена от народа, а с другой — взята под политический контроль чиновнического сословия. Это ярко проявилось накануне и в начале Первой мировой войны и нашло выражение в еще большей бюрократизации государственной жизни и возрождении державной идеологии (вместе с гигантскими средствами на ее подпитку), что легло тяжким бременем не только на беднейшие слои населения, но и на мелких собственников, которые почти полностью лишились свободы действий.

Вполне естественно, что в этих условиях революционное движение охватило большую часть населения страны. Предстояло решить, какую власть надлежит установить. Что же касается самой революции, то вопрос о ней не стоял. Ее необходимость была самоочевидной. Не шла речь и о временных ориентирах — чем раньше, тем лучше. Считалось, что раз капитализм достиг определенной степени зрелости, то он уже несет в себе зародыш нового строя. А потому речь идет только о силе, которая послужит «повивальной бабкой» истории и поможет родиться новому обществу.

Каковы же основные вехи укоренения тоталитаризма в России? Как сложился его каркас?

Захватив власть в октябре (ноябре) 1917 г. и закрепив ее на II Всероссийском съезде Советов, большевики сформировали правительство, которое отражало лишь узкий спектр социальных интересов и включало, кроме них самих, еще только левых эсеров. Это вполне соответствовало понятию диктатуры пролетариата. Как и всякая революционная власть, оно, представляя ничтожное меньшинство населения, стремилось навязать свою волю большинству. К тому же ему, как полагал Ленин, не пристало опираться на «общественное мнение», «выборы» и прочие процедуры, становящиеся в революционную эпоху пустой формальностью. Однако, начав «красногвардейскую атаку» на капитал и национализировав землю, правитель-

ство фактически сосредоточило в своих руках всю сколько-нибудь значительную собственность на средства производства. Тем самым его противники были лишены точек опоры в гражданском обществе и превратились в «голую» политическую силу, которую уже не так трудно сломить политическими же средствами.

Большевики закрыли оппозиционную прессу, запретили массовые организации, приняли другие репрессивные меры, которые, по существу, поставили вне закона наиболее продвинутую и самодеятельную часть буржуазии, помещичества и зажиточного крестьянства. Это позволило государству установить почти исчерпывающий контроль над обществом. На таком фоне и происходила кристаллизация структуры новой власти, пришедшей на смену разбитой государственной машине, отброшенной не столько за ненадобностью, сколько в качестве классово чуждого способа организации государства, приспособленного к интересам эксплуататоров.

Казалось бы, по логике ленинской работы «Государство и революция» и соответствующих партийных решений, средоточием власти должны были стать Советы, которые воспринимались как зародышевая форма нового государства, и прежде всего Всероссийский съезд Советов, призванный выразить волю трудящихся масс и как государственный орган исключавший представительство эксплуататорских классов. Именно Советам вроде бы следовало отвести роль непосредственного организатора системы диктатуры пролетариата в тесном союзе с трудовым крестьянством. Но этого не произошло, да и не могло произойти. Советы, задуманные как единые «рабочие коллегии», не просто оказались не в силах сочетать в себе законодательные и исполнительные функции. Будучи фактически лишь периодическими кратковременными собраниями представителей, они в действительности не осуществляли ни тех ни других.

Был тут и чисто исторический нюанс. Советы не конституировались как власть; они получили ее из рук большевистской партии, сформировавшей правительство. Другими словами, первичной была власть большевиков. Ее лишь «освятил» съезд Советов, но никак не делегировал. Этим во многом объясняется и тот — на первый взгляд, парадоксальный — факт, что Советское правительство существовало наряду с Центральным исполнительным комитетом, созданным съездом Советов именно в качестве своего исполнительного органа, и при этом соблюдался безусловный приоритет правительства перед ЦИК.

Такое странное раздвоение исполнительной власти, ставшее своего рода компромиссом между большевистской партией и Советами, естественно, оставалось чисто формальным. В действительности правительство, как ему и полагается, было единственным полномочным исполнительным органом, который распоряжался государственными делами. ЦИК же выродился в некий суррогат законодательного органа, по существу, не имевший реальных полномочий. Его действия не просто предрешались партией. Поскольку он возглавлялся большевиками, причем в основном не первого «эшелона», какими бы ни были эти действия, они вряд ли могли бы что-то предписывать правительству, состоявшему из большевиков, занимавших в руководстве партии гораздо более видные позиции. В итоге государственная власть как непосредственное представительство трудящихся оказалась не более чем фикцией.

Это невольно признал и Н. И. Бухарин, заметив, что «советская форма государства есть *самоуправление масс*, где любая организация трудящихся является составной частью всего аппарата. От центральных коллегий власти тянутся организационные нити к местным организациям по самым разнообразным направлениям, от них — к самим массам в их непосредственной конкретности»[2]. Но о каком самоуправлении масс может идти речь, если нет никакой самодеятельности трудящихся, выходящей за рамки государственного аппарата, а главное — они, будучи опутаны организационными нитями, всегда находятся под его полным контролем? Не говоря уже о том, что сама власть расщепляется на отдельные составляющие (правительство и ЦИК), каждая из которых весьма далека от подчинения и даже реальной подотчетности Советам.

Любое подобное «разделение властей» в рамках единой государственной «субстанции», ее внутренняя дифференцировка обычно заканчиваются тем, что одна из «ветвей» подавляет другую. Неудивительно, что Советское правительство в конце концов нивелировало функцию ЦИК и подмяло под себя суд. Да и могло ли быть иначе? Ведь сама революционная законность понималась как выражение политической целесообразности, которая, в свою очередь, наиболее емко воплощалась в правительственных декретах. Так сложилась советская пирамида власти, консолидировавшая ее в руках партийной верхушки. Она стала фундаментом тоталитарного режима, ярче всего проявившего себя в эпоху военного коммунизма.

Правда, еще оставались очаги сопротивления, относительно самостоятельные формы выражения частных интересов, но они носили лишь военный или в лучшем случае общественно-политический характер. К ним относились, во-первых, партии, которые отстаивали интересы отдельных слоев населения, даже не столько сами эти интересы, сколько память о них, ибо социальная база этих интересов была уже основательно подорвана. Несмотря на свои усеченные возможности, они еще представляли достаточно серьезную угрозу для Советской

власти отчасти ввиду оправданности выдвигаемых ими требований, отчасти в силу их предшествующего опыта и превосходства в культурном уровне по сравнению с пролетарскими организациями. Поэтому, запретив политические партии в 1918 г., большевики закрыли официальный канал сопротивления «диктатуре пролетариата». Во-вторых, внутри самой большевистской партии неизбежно возникали разногласия по отдельным вопросам тактики или даже стратегии, которые так или иначе сопрягались с объективными интересами различных слоев населения, выражаемыми теми или иными группами партийцев. Эти разногласия неизбежно подогревались как сложностью задач, стоявших перед правящей партией, так и тем, что, перекрыв альтернативные каналы выражения политических интересов, большевики, сами того не желая, перевели дискуссии во внутрипартийную плоскость. Эту тенденцию удалось пресечь лишь с помощью резолюции X съезда ВКП(б) «О единстве партии» (1921 г.). Она поставила последнюю точку в процессе зачистки внутриполитического окружения Советского государства, что сделало официальную власть не просто единой и всемогущей, но и единственной и неоспоримой.

С превращением большевистской партии в единственную политическую силу общества автоматически изменились и ее функции в системе власти, а точнее, те ростки, которые наметились в этой системе раньше, приобрели законченную форму. С одной стороны, все ответвления государственной власти оказались под полным контролем партии, а с другой — превратившись в «единство воли, исключающее всякую фракционность и всякую разбивку власти» (Сталин) и избавившись от внешнего политического «надзора», сама партия стала самодостаточной силой и самостоятельной ветвью власти, причем главной, ключевой, директивно руководящей всеми остальными властными структурами. «Высшим выражением руководящей линии партии... в стране диктатуры пролетариата, — заявлял Сталин, — следует признать тот факт, что ни один важный политический или организационный вопрос не решается у нас нашими советскими и другими массовыми организациями без руководящих указаний партии. В *этом смысле* можно было бы сказать, что диктатура пролетариата есть, *по существу*, «диктатура» его авангарда, «диктатура» его партии как основной руководящей силы пролетариата» [3]. Тем самым возникла особая политическая ветвь власти, занимающая определяющее место в структуре государства. И хотя само по себе понятие политической власти является нонсенсом, бессмысленной тавтологией, ибо не может быть власти неполитической, как и политики, не связанной с властью, эта, казалось бы, пустая оболочка наполняется вполне реальным содержанием, а партия превращается в широкую номенклатуру, из которой в основном рекрутируются государственные чиновники.

Конечно, вовсе необязательно, чтобы каждый член партии занял какую-то важную должность. Точно так же, как не все вакантные места непременно замещаются партийцами. Однако любое отступление от общего правила воспринимается именно как исключение. А потому оно, во-первых, не может касаться ключевых постов и, во-вторых, допускается лишь с ведома и одобрения партийных органов. Недаром, наряду с партией как целым, существовала еще узкая номенклатура. Именно из нее черпались резервы для конкретных назначений системой «орграспредов». В этом смысле Сталин не придумал ничего оригинального. Он лишь довершил то, что и так напрашивалось логикой организации тоталитарно-бюрократической власти. Ведь еще в восточных деспотиях создавался номенклатурный «резервуар», служивший источником новых чиновничьих кадров.

Сама большевистская партия понемногу стала превращаться в иерархически организованную пирамиду власти. Учитывая, что ее лидеры поставили под свой контроль все остальные ответвления власти и сосредоточили у себя не только политические, но и хозяйственные рычаги управления, можно сказать, что высшее партийное руководство фактически оказалось коллективным (совокупным) монархом, наподобие директории во Франции конца XVIII в., с той лишь разницей, что полномочия директории не шли ни в какое сравнение с реальным потенциалом большевистской верхушки.

Правда, вначале, пока еще не сложилась узкая номенклатура, центр тяжести власти находился в правительстве, в котором состояло практически все высшее руководство партии (с 1919 г. — Политбюро). Но потом, с появлением такого кадрового «резервуара», он переместился в партийный аппарат. До этого установление режима личной власти было весьма затруднительно. Каждый член правительства, по существу, являлся «монополистом» на своем политическом направлении, обладая собственной долей фактической власти. Тем самым в значительной мере ограничивалась претензия на абсолютную власть со стороны главы правительства. Но, когда реальные полномочия начали перетекать в партийный аппарат, его глава уже мог прибрать к рукам всю полноту власти.

Партийные комитеты все больше отдалялись от принятия важнейших решений. Они не контролировали ни номенклатуру, ни «орграспред». Что же касается аппарата, то он уже по самой своей природе не может быть коллегиальным органом. Поэтому фактическая власть неизбежно стала переходить в руки его руководителя. Даже лица, занимавшие высокие партийные и государственные должности, оставались беззащитными перед могуществом аппарата. Они выглядели бумажными

тиграми, которых в любой момент готова смять эта бюрократическая машина.

Можно ли сказать, что старая конструкция государства была сломлена и отброшена?

Безусловно. Ибо старая власть опиралась на существенно иной общественный фундамент. Разумеется, она тоже была в достаточной степени отчуждена от гражданского общества. Но и гражданское общество было в известной мере «отделено» от нее. Оно во многом предоставлялось самому себе под флагом частного интереса, и государство ставило ему лишь внешние границы развития. Его внутренняя свобода (особенно в части производства) при этом не слишком ограничивалась, и оно могло само искать и находить пути и формы реализации своего потенциала. Что же касается большевистской власти, то она изначально взяла на себя миссию построения нового социального порядка по определенному «лекалу» и поэтому неизбежно должна была проникнуть во все поры гражданского общества и фактически превратить его в театр марионеток, где чуть ли не каждое жизненное отправление происходит по мановению партийных кукловодов. В этой среде, пропитанной идеологическим дурманом, гражданин оказывался в плену фантомов и миражей и становился не более чем винтиком в государственном механизме, которому, по существу, нельзя было сопротивляться. Можно было либо послушно выполнять свою функцию, либо «сорваться» и выпасть из этого механизма – погибнуть, оказаться в заключении, эмигрировать и т. д. Вот почему природу такой власти можно характеризовать как тоталитарный абсолютизм без частного интереса, способного хотя бы немного смягчить безжалостный пресс государства и предоставить личности минимальную свободу самовыражения.

3. Pro et contra

Ростки тоталитаризма, проявившие себя во многих странах Европы в конце XIX — начале XX вв., не остались незамеченными интеллектуальной элитой того времени. Причем они сталкивались не только с критическими стрелами, но и с восторгом и даже упоением некоторых мыслителей, увидевших в них предвестие административной революции, способной, наконец, дать государству рациональные методы управления подданными. К числу таких мыслителей относится, например, немецкий социолог М. Вебер, который воспринимал вызванное углублением в обществе тоталитарных начал бюрократическое засилье чуть ли не как панацею от государственного произвола.

Ученый считал бюрократию наивысшим социальным изобретением человечества. Он кратко определял ее как «практику контроля на основе знания». Именно благодаря знанию бюрократическая организация становится рациональной. Дело не только в «техническом знании», хотя уже его одного достаточно, чтобы обеспечить своему «владельцу» исключительное положение во властной иерархии. Но вдобавок тот увеличивает свою власть «посредством знания, вырастающего из опыта»[4]. «Техническое» и «опытное» превосходство над другими формами организации управления является решающей причиной выдвижения бюрократии на передний план.

Сегодня эти доводы кажутся весьма странными, если не сказать, надуманными. Однако они приобретают гораздо большую осмысленность, если вписать их в контекст эпохи, «навеявшей» модель Вебера. В начале XX в. в Европе, особенно в Пруссии, где были столь развиты непотизм (раздача доходных должностей), семейственность и фаворитизм (служебное покровительство), идея рационального и безличного принятия решений выглядела новаторской. Она предлагала, с одной стороны, основываться только на разумных началах, а с другой — избавиться от эмоциональных пристрастий отдельных лиц.

Основными принципами бюрократической организации Вебер считал:

— правила и регламенты совершения действий;

— специализацию при распределении заданий исполнителям;

— иерархию официальных полномочий и должностей, способствующую повышению формально определяемой эффективности деятельности.

При строго бюрократическом подходе к построению организации, по мнению ученого, можно добиться:

— точности и высокой скорости выполнения работ;

— определенности в действиях и их подчинения общей линии;

— единства прилагаемых усилий;

— усвоения накопленного знания;

— непрерывности управленческих импульсов;

— снижения трений между отдельными подразделениями и уровнями управления;

— экономии ресурсов, т. е. сокращения материальных и трудовых затрат до приемлемого уровня.

Бюрократическая иерархия, по Веберу, строго упорядочивает и коммуникативное поведение людей. Все сообщения (по крайней мере официальные, регламентированные) она направляет только вдоль «вертикали». Сверху вниз идут распоряжения и инструкции, а снизу вверх — отчеты и другая справочная информация. Тем самым каналы общения не просто «застывают», но и подавляют любые данные, не предусмотренные утвержденными формами. Естественно, организация лишается возможности чутко реагировать на неожиданные события и приспосабливаться к изменениям.

Конечно, было бы наивным думать, что Вебер не отдавал себе отчета в двойственности бюрократической системы. Для него не было тайной, что стремление довести рациональную эффективность до предела оборачивается своей противоположностью и приводит к нарушению или даже полному распаду функций управления. Но беда в том, что он не знал и не мог предложить иных способов обеспечения ее эффективности, а потому издержки бюрократизации воспринимал как неизбежное зло — побочный продукт, с которым надлежит вести борьбу.

Странности и нестыковки бюрократических моделей государственного управления еще до социологов и политологов развенчали писатели. Широко известен роман Ф. Кафки «Замок». В нем подвергнуто уничтожающей критике бездушное обиталище власти, которое превращает обычного человека в существо, чья жизнь не имеет никакого смысла вне сферы «промысла» чиновников. «Сортини, — замечает один из персонажей, — не обратил на нас никакого внимания — не по личной прихоти, а как все чиновники, он выказывал полное безразличие к людям». Конечно, в Замке «вникают во все, но нельзя же грубо вмешиваться в ход жизни с единственной целью – соблюдать интересы одного человека».

Кафка обратил внимание и на «частичность», фрагментарность бюрократического сознания, что предопределяется жестким разделением управленческого труда. «Чиновники, — говорится в романе, — народ очень образованный, но односторонний, по своей специальности каждый из них из одного слова может вывести целый ряд мыслей, но ему можно часами объяснять то, что касается другого отдела, и он будет только вежливо кивать головой, но не поймет ни слова»[5]. Однако доводы Кафки носили в основном моральный характер и практически не затрагивали вопроса об эффективности бюрократии, соответствия ее деятельности собственным меркам.

Задача демонстрации внутренней нищеты и беспомощности бюрократической системы была решена А. Платоновым в повести «Город Градов». Буквально одним-двумя штрихами он мастерски выпячивал «абсурдизм» бюрократического сознания.

В городе была создана особая комиссия по набору техников. Но за все время своего существования ей не удалось принять ни одного работника. Выяснилось: для того чтобы построить деревенский колодезь, техник должен знать всего К. Маркса. А один из членов этой приемочной комиссии вслух прочитал книгу, где рассказывалось о том, как холоп Микишка сделал аэроплан и летал на нем перед Иваном Грозным. Это окончательно убедило остальных членов в скрытых силах пролетариата и трудового крестьянства. Но апофеозом стал пожар в Градове. Сгорели пять домов и пекарня. Причем пекарня занялась первой. Однако пекарь уверял, что он всегда бросает окурки в тесто, а не на пол. Тесто же не горит; оно шипит и гасит огонь. Ему поверили, и он остался печь хлебы.

Главный герой повести — 35-летний заведующий подотделом губернского земельного управления Иван Федотович Шмаков — втайне писал труд «Записки государственного человека» о великой миссии бюрократии. Он полагал, что борьба с ней основана на недоразумении. «Что нам дают вместо бюрократизма?» — возмущенно спрашивал Шмаков и сам же гневно отвечал: «Нам дают — доверие вместо документального порядка, то есть дают хищничество, ахинею и поэзию». Но самым худшим врагом гармонии и порядка он считал природу, ибо в ней всегда что-то случается. «А что, если учредить для природы судебную власть и карать ее за бесчинство? — думал Шмаков. — Например, драть растения за недород. Конечно, не просто пороть, а как-нибудь похитрее — химически, так сказать!» — но тут же вздохнул: не согласятся, «беззаконники везде сидят».

Выдержки из труда Шмакова почти воспроизводят, хотя и в саркастической тональности, рассуждения Вебера. «И как идеал, — делится сокровенным губернский чиновник, — зиждется перед моим истомленным взором то общество, где деловая официальная бумага проела и проконтролировала людей настолько, что, будучи по существу порочными, они стали нравственными. Ибо бумага и отношение следовали за поступками людей неотступно, грозили им законными карами, и нравственность сделалась их привычкой». Отсюда вывод: «Канцелярия является главной силой, преобразующей мир порочных стихий в мир закона и благородства». А волокита, как писал Шмаков в финале докладной записки начальнику своего учреждения, «есть умственное коллективное вырабатывание социальной истины, а не порок».

Растратив силы на защиту бюрократии, Шмаков был охвачен таким разочарованием, что подумывал уже все бросить и отправиться в глухой скит, дабы «не скорбеть над болящим миром». И хотя он считал такой поступок бессовестным, оправданием ему служило «то, что мир официально никем не учрежден и, стало быть, юридически не существует». Умер чиновник от истощения на большом социально-философском труде «Принципы обезличения человека с целью перерождения его в абсолютного гражданина с законно упорядоченными поступками на каждый миг бытия». Но вместе с собой он похоронил и веберовскую модель бюрократической организации, которую, сам того не ведая, всю жизнь стремился довести до логического завершения.

Однако это, конечно же, лишь эмоционально-личностный взгляд на бюрократию. Если же перей-

ти на сухой язык управленческой теории, следует показать те «родимые пятна», которые принципиально ограничивают ее практическую эффективность.

Прежде всего, жесткая централизация управления приводит к построению односторонней вертикали. Полномочия выше- и нижестоящих руководителей четко не разграничиваются. Те, кто «сверху», вправе вмешиваться во все вопросы, которыми ведают их «подопечные», и давать указания, нарушающие как немногочисленные правила, регламентирующие порядок взаимодействия должностных лиц, так и саму логику их деятельности. Тем самым полномочия нижестоящих руководителей по отношению к начальнику оказываются весьма условными и почти целиком зависят только от его воли. Естественно, что о проявлении инициативы или самостоятельном взгляде на решаемые задачи тут речь не идет.

При столь жесткой и в то же время однонаправленной «вертикали» крайне затрудняется координация работ. Она не просто ослабляется, но буквально выжимается, вытесняется из организации. Если координация где-то и встречается, то лишь благодаря добровольным усилиям отдельных руководителей. Но они не могут быть слишком частыми и тем более систематическими, поскольку предпринимаются на свой страх и риск и, мягко говоря, не поощряются. На них смотрят сквозь пальцы только в случае достижения предписанных результатов, да и то если действия сотрудничающих руководителей не идут вразрез с чьими-то «вышестоящими» интересами. В противном случае, если они потерпят неудачу, наказание будет неотвратимым.

Это вовсе не значит, что в бюрократической системе полностью исключается «легальная» координация работ. Но она происходит лишь в особых (чрезвычайных) обстоятельствах, которые вынуждают вышестоящих руководителей принять срочные и нестандартные меры. Тогда издается распоряжение (приказ), где конкретно указывается, кто, с кем и как должен согласовывать свои действия и участвовать в совместных работах. Однако и в этом случае не допускается иная координация действий, даже если этого требует ситуация. А главное — в повседневных (рутинных) делах любое взаимодействие между руководителями одного уровня может происходить только через соответствующие «вертикали».

Например, когда потребитель жалуется на плохое качество продукции или услуг, сбыт не может напрямую обратиться в производственное подразделение и предложить ему заняться устранением дефекта. Продавец должен поставить вопрос перед своим начальником, тот — перед руководителем отдела сбыта, который, в свою очередь, перед коммерческим директором, пока дело не дойдет, наконец, до первого лица. А уже оно, если посчитает нужным, даст указание начать работу с некачественным товаром, причем через точно такую же цепь «посредников».

Однако, во-первых, это требует слишком большого времени. И к тому моменту, когда вопрос встанет в практической плоскости, он может просто потерять актуальность. А во-вторых, каждый руководитель в этой цепи будет сам решать, стоит ли продвигать его дальше («снизу вверх») и как лучше сформулировать задачу («сверху вниз»). В результате вопрос может по дороге где-то застрять, забыться, затеряться. И даже после одобрения «главного» нет никакой гарантии, что он попадет к производственникам именно в том виде, как его заострил потребитель.

Наконец, ясно, что в такой системе управления не может быть надежных механизмов выявления проблем. Их отбор и постановка всецело зависят лишь от самих руководителей. Причем они, как правило, ставят проблемы не перед своими начальниками и даже не перед собой, а направляют их нижестоящим руководителям.

Но чем выше уровень управления, тем больше руководитель оторван и от внешней среды, и от повседневной жизни собственной организации. Если нет четкого порядка мониторинга, «сортировки» и адресации проблем, они, естественно, не попадают в поле зрения вышестоящих руководителей. Что же касается тех, которые затрагивают всю организацию в целом, т. е. составляют прерогативу первого лица, то оно может их сформулировать лишь по чистой случайности или благодаря прозорливости, граничащей с пророчеством.

Единственная альтернатива — направить на первое лицо весь поток информации, собираемой и генерируемой организацией. Но тогда оно неизбежно захлебнется в ней и не сможет принять вообще никакого решения. Вот почему в бюрократической системе обычно «схватываются» и ставятся не реальные проблемы, а лишь те, которые считают таковыми сами руководители. Соответственно, расхождение с жизнью является тут не капризом случая, а внутренней тенденцией, и отрыв от действительности в конце концов оказывается совершенно неизбежным.

Таким образом, успех бюрократической организации зависит не от механизмов функционирования или структуры управления, а почти исключительно от личных качеств ее руководителей. Чтобы она могла продуктивно работать, ее должна возглавить выдающаяся личность, высоко компетентная в своем деле. Причем ей придется заполнить «себе подобными» и все остальные вакансии. Иначе сбои в слабых звеньях потянут за собой вниз всю организацию.

Эта картина уже сама по себе выглядит довольно фантастической. Но если еще какое-то при-

ближение к ней можно вообразить в момент создания организации, когда «хозяин» волевым решением ставит во главе ее идеальную кандидатуру, то потом, когда принятие решений и кадровые назначения переходят в собственно бюрократический режим, ситуация в корне меняется. Привлечение лиц, сочетающих в себе глубокий профессионализм с масштабом личности, практически исключается. Точнее, оно становится делом случая. И, чтобы «усеять» такими людьми всю управленческую иерархию, сама жизнь организации должна превратиться в одну сплошную случайность. Но это вряд ли возможно, поскольку тогда наступил бы полный хаос, и всякое управление вообще лишилось бы смысла.

Как заметил Г. К. Честертон в рассказе «Человек, который был четвергом», «хаос уныл, ибо в хаосе можно попасть и на Бейкер-стрит, и в Багдад. Но человек — волшебник, и волшебство его в том, что он скажет «Виктория» и приедет туда». Бюрократическая система этого не в состоянии обеспечить в быстро меняющемся мире, где каждый день приносит множество сложных проблем. Они по зубам лишь компетентным, инициативным, дальновидным людям, которым трудно ужиться с бессмысленной централизацией власти.

---

[1] Настоящая статья является непосредственным продолжением предыдущих публикаций: *Петросян А. Э.* Предыстория тоталитаризма: Долгая дорога к бюрократии // Вестник Омского университета. — 2007. — № 3; *Его же.* Предвестие тоталитаризма: В лабиринте сословных притязаний // Научный вестник Омской академии МВД России. — 2007. — № 3.

[2] *Бухарин Н. И.* Избранные произведения. — М., 1988. — С. 22.

[3] *Сталин И. В.* Вопросы ленинизма. — М.-Л., 1929. — С. 25.

[4] *Weber M.* The theory of social and economic organization. — N.-Y., 1947. — P. 339.

[5] Цит. по: *Донской Г. (Петросян А. Э.)* В плену осажденного Замка, или Апология грешной бюрократии // Вестник высшей школы. — 1990. — № 7.